

Минин П. М. К характеристике литературной деятельности В. А. Жуковского: [(По поводу пятидесятилетия со дня его кончины)] // Богословский вестник 1902. Т. 1. № 4. С. 766–787 (3-я пагин.).



Къ характеристикѣ литературной дѣятельности В. А. Жуковского.

(По поводу пятидесятилѣтія со дня его кончины).

12-го Апрѣля текущаго года исполняется пятидесятилѣтіе со дня кончины одного изъ извѣстныхъ представителей нашей отечественной литературы,—Василія Андреевича Жуковского и почти 120 лѣтъ со дня его рожденія. Періодъ времени весьма значительный! И если теперь вся образованная Русь еще разъ празднуетъ литературную годовщину этого поэта, то это—ясное доказательство того, что мы имѣемъ дѣло въ данномъ случаѣ съ крупною литературной силой, оставившей по себѣ въ исторіи русской литературы весьма значительный слѣдъ. И дѣйствительно, на долю поэзіи В. А. Жуковского выпала немаловажная роль и эту свою роль она выполнила съ достоинствомъ.

На литературное поприще Жуковскій выступилъ въ одинъ изъ довольно тяжелыхъ періодовъ нашей общественной жизни. Это были приснопамятныя времена императора Павла съ извѣстнымъ режимомъ его правленія. „Со вступленіемъ на престолъ императора Павла I,—говоритъ одинъ изъ біографовъ Жуковского,—каждое лицо, чѣмъ образованнѣе, чѣмъ знатнѣе оно было, тѣмъ болѣе испытывало на себѣ весь неуклюжій гнетъ пронырливой, вездѣ подслушивавшей, подозрительной полиціи. Сношенія съ вѣшнимъ міромъ были преграждены. Всѣ желанія, размышленія, свѣдѣнія о случавшихся происшествіяхъ, должны были укрываться въ тѣсномъ кругу семьи или вѣрныхъ знакомыхъ. Взгляды на жизнь получали отъ того отвлеченный характеръ, рѣзко про-

тивоположный съ прозаическою дѣйствительностію¹⁾. Оторванное отъ жизни, русское общество принуждено было замыкаться въ кругъ своихъ личныхъ интересовъ, уходить вглубь себя, или устремлять взоры въ заоблачную высь. Умъ и сердце требовали насущной пищи,—и за отсутствіемъ такой пищи въ дѣйствительной жизни они искали выхода и удовлетворенія въ жизни воображаемой, въ жизни туманной мечты и смутной надежды. Все таинственное, загадочное, обольстительное самою таинственностію и загадочностію, все, что хотя на время заслоняло неприглядныя стороны дѣйствительной жизни и давало хотя иллюзію довольства и счастья,—все это находило самый радушный пріемъ. Квіэтизмъ, піэтизмъ, мистицизмъ, масонство—все это пользовалось среди общества успѣхомъ. Не лучше дѣло обстояло и съ литературой. Она то, по традиціи, продолжала копировать иностранныя образцы, то несмѣло пробовала свои силы на самостоятельныхъ произведеніяхъ. На смѣну торжественнымъ одамъ и громкозвучнымъ диэпробамъ нарождалось новое теченіе,—сентиментализмъ. Любители словесности восхищались приторно-чувствительными твореніями Карамзина, умилялись до слезъ надъ его „Бѣдной Лизой“, простирая свои восторги до паломничества на „Лизинъ прудъ“—мѣсто гибели героини разсказа. Периодическая литература, выдающимся органомъ которой являлись журналы „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ и „Покрена или Утѣха любославія“ была горячей поборницею этого романтически-сентиментальнаго направленія. И въ переводныхъ и въ оригинальныхъ статьяхъ своихъ она воодушевленно проповѣдывала его, воспѣвая „священную меланхолю“ и прославляя „величественное уединеніе“.

Такимъ образомъ, и въ обществѣ и въ литературѣ господствовало *религіозно-сентиментальное настроеніе* и особымъ успѣхомъ пользовалось то, что больше поражало воображеніе и трогало сердце, что болѣе способствовало скорѣе забвенію дѣйствительной жизни, чѣмъ сближенію съ ней. И нужно было слишкомъ высоко стоять надъ уровнемъ современной жизни, чтобы выступить противъ этого общественнаго те-

1) К. К. Зейдлицъ. Жизнь и поэзія Жуковскаго. 1789—1852. СПб. 1899 г. стр. 19.

ченія; нужно было имѣть слишкомъ самообытный и оригинальный талантъ, чтобы создать новое, болѣе плодотворное направленіе въ русской литературѣ. Жуковский обладалъ крупнымъ литературнымъ талантомъ, котораго, по словамъ Бѣлинскаго—вполнѣ стало бы на то, чтобы явиться ему „главою и представителемъ цѣлаго періода людей рождающейся литературы“¹⁾, но, къ сожалѣнію, обстоятельства его собственной жизни сложились такъ, что образовали изъ него только выдающагося представителя Карамзинской школы, а не родоначальника новаго періода. Онъ слишкомъ былъ сыномъ своего вѣка, чтобы стать впереди его! Да и часъ реализма въ русской литературѣ не пробилъ еще: нужно было опытно познать всю тщету и безплодіе романтической поэзіи, чтобы оцѣнить все значеніе имѣвшаго народиться реалистическаго направленія въ ней.

Пѣвецъ романтизма, Жуковский былъ и происхожденія довольно романтичнаго. Онъ былъ сыномъ Тульского помѣщика Аѳанасія Ивановича Бунина и случайно попавшей въ его домъ плѣнной турчанки, Сальхи. Тѣ отношенія, которыя скоро установились между Бунинымъ и Сальхой, не могли не внести раздора и раздѣленія въ семейный очагъ Буниныхъ, и Аѳанасій Ивановичъ долженъ былъ поселиться въ боковомъ флигелѣ, гдѣ жила Сальха. При такихъ обстоятельствахъ произошло рожденіе мальчика—Жуковского²⁾, при тѣхъ же обстоятельствахъ протекло его и дѣтство до восьми лѣтъ включительно. Восемью лѣтъ мальчикъ лишился своего отца и остался на попеченіе законной жены его, Марьи Григорьевны, среди если и не чужой, то и не родной семьи своей. Родная мать его, въ крещеніи Елизавета Дементьевна, осталась въ домѣ Буниныхъ на положеніи „ключницы“, но къ сыну своему она непосредственнаго отношенія однако, не имѣла. Воспитаніе его, какъ и всего семейства Аѳанасія Ивановича, лежало на отвѣтственности супруги его, Марьи Григорьевны. Какъ ни хорошо относились семейные къ своему побочному братцу, какъ ни лас-

1) В. Бѣлинскій. Сочиненія, Москва, 1865 г. ч. VIII, стр. 149.

2) Свое отчество и фамилію Жуковский унаслѣдовалъ отъ своего духовнаго воспріемника, Андрея Григорьевича Жуковского, проживавшаго въ домѣ Бунина на правахъ хорошаго пріятеля его.

ково обращалась съ нимъ Марья Григорьевна, безмолвно усыновившая его въ душѣ своей, чувство нѣкотораго сиротства и отчужденности не могло не проникнуть въ душу ребенка. И знакомство съ тайною своего происхожденія, которая, несомнѣнно весьма рано стала извѣстна мальчику, и двусмысленное положеніе его родной матери въ домѣ Аванасія Ивановича и раздѣленіе изъ-за него и его матери супруговъ на два дома, которое продолжалось до смерти Буннина,— все это не могло не навѣвать на впечатлительнаго ребенка грустныхъ думъ; не могло не вызывать размышленій на невеселыя темы, не могло, наконецъ не способствовать раннему пробужденію того чувства сиротства, о которомъ мы упомянули. По крайней мѣрѣ, онъ самъ впоследствии сознавался въ этомъ.— „Семейнаго счастья,—говоритъ онъ,— для меня не было; всякое чувство надобно было стѣснять въ глубинѣ души; не смотря на нѣкоторые признаки дружбы, я сомнѣвался часто, существуетъ-ли дружба, и всегда оставался въ нерѣшимости чрезмѣрно тягостной—сказать себѣ: дружбы нѣтъ. На что было рѣшиться? Скрывать все въ самомъ себѣ и терпѣть и даже показывать видъ, что всѣмъ доволенъ: принужденіе слишкомъ тяжелое, при откровенности моего характера, который однако отъ навыка сдѣлался и скрытнымъ“.

Дѣтство и юность Жуковскаго протекли исключительно въ женскомъ обществѣ,—среди „побочныхъ“ сестръ и племянницъ. Среди нихъ онъ разнообразилъ различными играми дни своего дѣтства, среди нихъ онъ короталъ уже въ болѣе полезныхъ развлеченіяхъ и дни своей юности. Пріѣзжая сюда изъ Благороднаго университетскаго пансіона на лѣтніе каникулы, онъ дѣлился съ ними впечатлѣніями школы, литературными новинками и первыми плодами своего собственнаго вдохновенія. Такимъ образомъ, здѣсь онъ находилъ первыхъ поклонниковъ своего поэтическаго таланта и первыхъ поощрителей своей литературной дѣятельности. Это тѣсное и продолжительное общеніе съ женской средой, притомъ въ годы наибольшей восприимчивости человѣческой души, не могло не отразиться и на образованіи характера Жуковскаго и на развитіи его литературныхъ дарованій. По крайней мѣрѣ, съ несомнѣнностію можно полагать, что вліянію этой женской атмосферы онъ обязанъ *нѣжностью* и

мягкостью своей музы и *строго-цѣломудреннымъ* направленіемъ ея; Здѣсь же нужно искать источникъ и того *женственнаго лиризма*, который составляетъ общій фонъ его поэзіи.

Нельзя не отмѣтить и еще одного обстоятельства въ ранней жизни Жуковскаго, которое въ значительной степени отразилось на характерѣ его поэзіи. Это его продолжительная, чисто-романтическая любовь къ одной изъ своихъ племянницъ. Марья Андреевна Протасова, предметъ рыцарскаго обожанія Василя Андреевича, была дочерью Екатерины Аванасьевны Протасовой и, слѣдовательно, внучкой Аванасія Ивановича Бунина. Знакомство съ нею, какъ съ родственницей, началось у Жуковскаго съ самаго дѣтства Марьи Андреевны. Затѣмъ, руководство образованіемъ ея вмѣстѣ съ ея сестрой,—Александрой Андреевной, къ которому онъ приглашенъ былъ матерью этихъ дѣвушекъ, еще болѣе сблизило его съ Марьей Андреевной и породило въ немъ то чувство нѣжной любви къ ней, которому онъ оставался вѣрнымъ почти до конца своей жизни. Зная, что на его чувство ему отвѣчаютъ взаимностію, Жуковскій хотѣлъ жениться на своей воспитанницѣ; но когда онъ обратился съ предложеніемъ къ матери своей возлюбленной, то она, опираясь на церковныя уставы, воспротивилась этому браку и рѣшительно отказала ему. Напрасно Жуковскій неоднократно возобновлялъ свою попытку, умоляя ее измѣнить свое рѣшеніе, напрасно друзья его всѣми мѣрами стремились воздѣйствовать на упрямство матери, ничто, даже санкція этого брака м. Филаретомъ, не могло сломить фанатизма суевѣрной женщины. Не желая дѣйствовать противъ воли матери и тѣмъ вносить раздоръ въ дорогое ему семейство, Жуковскій долженъ былъ покориться своей мачихѣ-судьбѣ. Нѣтъ нужды распространяться о томъ, какъ тяжело должно было отозваться это событіе на его жизни. Въ одномъ изъ его стихотвореній мы находимъ въ высшей степени трогательное мѣсто, въ которомъ нельзя не видѣть поэтическаго отзвука на это событіе:

„Но сладкое счастье не дважды цвѣтетъ;
Пускай же драгое въ слезахъ оживетъ!
Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась.
Одна о минувшемъ тоска мнѣ осталась ¹⁾“.

¹⁾ Соч. В. А. Жуковскаго, изд. седьмое, подъ ред. Ефремова, т. I, стр. 80.

Но наиболѣе полнымъ и характернымъ выраженіе его настроенія этого времени является его посланіе „къ Филалету“ (Блудову), въ которомъ слышится скорбная нота разочарованія въ жизни и пламенное желаніе „конца боренію и съ жизнью и съ собой“:

„Какъ часто о часахъ минувшихъ я мечтаю!

Но чаще съ сладостью *конецъ* воображаю,

Конецъ всему—души покой,

Конецъ желаніямъ, конецъ воспоминаньямъ,

Конецъ боренію и съ жизнью, и съ собой!...

Не знаю... но мой другъ, кончины сладкій часть

Моей любимой мечтою становится...

И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,

Чтобъ Промысла рука обратно то взяла,

Чѣмъ я безрадостно въ семь мѣръ бременился,

Ту жизнь, въ которой я такъ мало наслаждался ¹⁾“.

Печальная завязка сердечной драмы Жуковского имѣла не менѣе печальное для него продолженіе и, наконецъ, не менѣе печальный конецъ. Марья Андреевна, уступая съ теченіемъ времени соображеніямъ житейскаго благоразумія, выходитъ замужъ за другаго, именно, за пріятеля Жуковского, доктора Мойеръ. Это событіе было новымъ ударомъ для чувствительнаго сердца поэта. „Что касается меня самого,—пишетъ онъ поэтому поводу своимъ близкимъ, — то нельзя же вдругъ всего передѣлать. Но вы за меня не боятесь. Я вообще счастливъ... Тяжелыя минуты были и будутъ; но славное чувство пропасть не можетъ. А въ этомъ все!“ Въ этихъ словахъ слышится пока инстинктивное стремленіе не столько успокоить другихъ, сколько утѣшить и обмануть самого себя, „заговорить“ свою собственную боль. Между тѣмъ, въ дѣйствительности сердце поэта истекаетъ кровью: „во мнѣ,—продолжаетъ онъ въ томъ же письмѣ,— есть другою человѣкъ, которому бываетъ больно, когда онъ замѣтитъ привязанность Маши къ Мойеру. Этотъ „человѣкъ“ (сколько я замѣтилъ) бурлитъ болѣе къ вечеру. Марья Андреевна недолго прожила въ замужествѣ. 19 Марта 1823 г. ея не стало. Поэтъ ѣдетъ въ Дерптъ, на могилу своей возлюбленной, чтобы воздать послѣдній долгъ христіанина.

1) Тамъ же, стр. 82.

Здѣсь онъ выражаетъ желаніе быть погребеннымъ на томъ же кладбищѣ, гдѣ покоятся дорогіе для него останки его возлюбленной. А вскорѣ послѣ этого событія онъ пишетъ: „*Поэзія жизни была она!* Но послѣ письма ея ¹⁾ чувствую, что она же будетъ снова поэзіей жизни, но поэзіей другого рода“. „Все высокое сдѣлается для меня теперь *вѣрою*; все стало понятнѣе; но это высокое надобно приобрести—иначе Маша навсегда потеряна. Жизнь тоже святыня. Маша сама меня въ томъ увѣрила“. Этотъ продолжительный эпизодъ его жизни, обнимающій собою чуть не добрую половину ея, не могъ не отразиться на поэзіи Жуковскаго. Чувство *нѣжной меланхолии и неудовлетворенной любви, разочарованности въ жизни этого міра и мистическіе порывы въ потусторонній міръ*,—гдѣ должны соединиться между собою души, лишеныя этой возможности здѣсь,—некроманія, наконецъ, витаніе въ мірѣ духовъ и призраковъ,—все это, въ такой степени проникающее его поэзію, есть въ значительной мѣрѣ результатъ той душевной драмы, которую онъ пережилъ въ этотъ періодъ своей жизни.

Въ Январѣ 1797 г. Жуковскій поступаетъ въ Университетскій Благородный Пансіонъ. Для него начинается новая жизнь, новыя вліянія, новыя впечатлѣнія. Въ какую сторону направляются теперь его мысли, къ чему преимущественно будетъ склоняться его сердце, — это въ значительной степени будетъ зависѣть отъ характера той среды, въ которой онъ будетъ вращаться. А среда эта была такова, что въ самомъ лучшемъ случаѣ могло образовать изъ него *честнаго и добраго мечтателя*, т. е., закончить развитіе тѣхъ основъ его личности, начало которымъ положено было уже въ предшествующее время. Прежде всего, постановка учебнаго дѣла была такова, что главное вниманіе обращалось на формальное развитіе учениковъ и воспитаніе въ нихъ добрыхъ чувствъ. Вслѣдствіе этого преподаваніе предметовъ носило отвлеченный характеръ и мало давало положительныхъ знаній. Объ общемъ характерѣ его можно судить уже по тѣмъ темамъ, которыя разрабатывались учениками въ ихъ письменныхъ работахъ и о которыхъ мы узнаемъ изъ

¹⁾ Это письмо оставлено было Жуковскому Марьей Андреевной предъ своею смертію.

официальныхъ описаній пансіонскихъ актовъ. Среди нихъ мы встрѣчаемъ, напр., такія: „Къ щастливой юности“, „Добродѣтель“, „Любовь къ отечеству“, „Слава“, „Могущество, слава и благоденствіе Россіи“ и т. п. Въ большомъ ходу были и такія темы, какъ „Мысли у могилы“, „Мысли на кладбищѣ“. Конечно, такое образованіе не могло ни обогатить воспитанниковъ познаніями, ни способствовать выработкѣ въ нихъ опредѣленнаго, болѣе жизненнаго міросозерцанія. Жуковскій впослѣдствіи самъ сознавалъ недостаточность своей школьной подготовки и стремился пополнить пробѣлы въ ней самостоятельнымъ трудомъ ¹⁾.

На ряду со школой на Жуковскаго должны были оказывать свое вліяніе и тѣ люди, съ которыми онъ сталкивался въ ней. Здѣсь на первомъ мѣстѣ должно быть поставлено семейство директора Пансіона Ивана Петровича Тургенева. Двойкіе узы соединяли юношу Жуковскаго съ этимъ семействомъ; во первыхъ, знакомство съ Тургеновыми его ближайшихъ родственниковъ Буниныхъ и Юшковыхъ, и во вторыхъ, его собственная близость съ Андреемъ и Александромъ Ивановичами,—сыновьями директора, съ которыми онъ по школѣ состоялъ въ дружественныхъ отношеніяхъ. Иванъ Петровичъ вообще пользовался большимъ вліяніемъ на воспитанниковъ своего заведенія: „Юноши,—по словамъ Жуковскаго,—привязаны были (къ нему) свободною довѣренностію, *сходствомъ мыслей и чувствъ* и самую нѣжною благодарностію ²⁾“. Масонъ, пріятель извѣстнаго литературнаго дѣятеля XVIII в. Новикова, членъ „Дружескаго ученаго общества“ и „Типографической компаніи“,—онъ считалъ масонство „очень хорошимъ дѣломъ“ и вѣрилъ, что масономъ является тотъ, кто „удостоился черезъ исправленіе нравственнаго характера сдѣлаться столько совершеннымъ, сколько человѣку возможно быть ³⁾“. Такимъ образомъ въ основѣ его міросозерцанія лежалъ идеаль нравственнаго самоусовершенствованія на мистической подкладкѣ. Этимъ же міросозерцаніемъ проникнуты были и сыновья его и изъ

¹⁾ Сочиненія В. А. Жуковскаго *op. cit.*, т. VI, 389—390, 391, *ср. тамъ же стр.* 446, 615 и др.

²⁾ Тамъ же, т. I, 288.

³⁾ Сочиненія Н. С. Тиховравова, Москва 1898 г. т. III, ч. I, стр. 414.

нихъ особенно Андрей, оказавшій наибольшее вліяніе на Жуковскаго. Интересенъ въ данномъ случаѣ отрывокъ изъ одного стихотворенія Андрея Тургенева, въ которомъ онъ говоритъ:

„Зри духомъ въ вѣчность. Что твой взоръ встрѣчаетъ?

Тамъ лучшій міръ, тамъ Богъ!—Страдалецъ! улыбнись ¹⁾“.

Часто вращаясь въ семействѣ Тургеневыхъ, Жуковскій долженъ былъ познакомиться здѣсь со многими другими масонами и между ними съ извѣстнымъ Н. В. Лопухиннымъ, а также и съ первостепенною звѣздою литературы того времени, Карамзинимъ. Авторъ книги „О внутренней церкви“, „добрый благодѣтель“ Жуковскаго, Лопухинъ долженъ былъ оказать на него немалое вліяніе и именно въ духѣ своего масонскаго идеала, а ближайшее знакомство съ родоначальникомъ новаго направленія въ русской литературѣ не могло не повліять на направленіе литературныхъ дарованій Жуковскаго въ духѣ сентиментализма.

Наконецъ, въ школьный же періодъ своей жизни Жуковскій долженъ былъ впервые испытать на себѣ и вліяніе современной ему періодической печати, которое нельзя обойти молчаніемъ здѣсь вслѣдствіе немалаго значенія его для нашего поэта. Въ этомъ случаѣ необходимо отмѣтить два журнала конца XVIII в.; во первыхъ, „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ (1794—1798), принадлежавшій къ числу книгъ, дозволенныхъ въ Университетскомъ Пансіонѣ для внѣкласснаго чтенія воспитанниковъ, и, во—вторыхъ, „Инокрену, или Утѣхи любославія“ (1799—1801). Эти журналы хорошо были знакомы питомцамъ Пансіона: въ нихъ лучшіе изъ нихъ помѣщали даже свои собственныя произведенія. О томъ, въ какомъ духѣ могли вліять на нихъ эти журналы, можно судить по характеру ихъ общаго направленія. Прежде всего, нельзя не отмѣтить, что оба журнала были проникнуты однимъ и тѣмъ же рѣзкимъ духомъ *религіозно-сентиментальной* реакціи противъ идей либеральной философіи XVIII в. Ихъ общимъ желаніемъ было, чтобы исчезло съ лица земли „святотатственное злоупотребленіе великимъ именемъ просвѣщенія и философіи“. Реакціонный

¹⁾ Письмо Ал. Ив. Тургенева къ Н. И. Тургеневу, Лейпцигъ, 1872 г. стр. 147, 217—218.

духъ ихъ въ данномъ случаѣ простирается до того, что они готовы были подозрѣвать и обвинять въ вольнодумствѣ и невѣрїи даже Карамзина. Въ то же время въ специально-литературномъ отношенїи они были послѣдователями новаго Карамзинскаго направленія, считая Карамзина „чувствительнымъ, нѣжнымъ, любезнымъ и привлекательнымъ нашимъ Стерномъ“, вмѣстившимъ въ себѣ „чувствительность“ Мармонтеля и Стерна. Въ нихъ слышатся жалобы на господство разума въ ущербъ правамъ *сердца*, этого „виновника“ дѣлъ великихъ и благородныхъ; воспѣваются: „уединеніе“, эта „отрада чистѣйшихъ душъ“, „сельская Натура“,—источница „божественныхъ вдохновеній“. На ряду съ крайностями сентиментализма проскальзываютъ мрачныя ноты западнаго романтизма. „Священная меланхолія“ прославляется, какъ „сильная царица превыспреннихъ мыслей“. Кладбище почитается мѣстомъ „величественнаго уединенія“, гдѣ меланхоликъ „утомленный обуреваніями жизни“ „проливаетъ вѣрующія слезы, восхищаясь пареніями Оратора Ночей—Юнга“. Среди стихотвореній, помѣщаемыхъ въ этихъ журналахъ, часто встрѣчаются такія, какъ: „Достоинство смерти“, „Гласъ смертнаго къ Богу“, „Уединеніе“, „Воздыханіе о помощи“, „Къ суетѣ“. Среди переводныхъ произведеній мы находимъ „Размышленія надъ гробницами“ извѣстнаго англійскаго „методиста“ Джемса Гервея, „Сельское кладбище“—Грея. Таковъ общій характеръ этихъ журналовъ ¹⁾. Очевидно, что они не только не могли сблизить юношу Жуковскаго съ дѣйствительною жизнью и направить его вниманіе на злобу днѣ; напротивъ, они еще болѣе толкали его на тотъ путь мечтательнаго лиризма, чуждаго всякой дѣйствительности, который уже намѣчался для него рядомъ другихъ, указанныхъ нами выше, вліяній.

Итакъ, все — и духъ времени, и обстановка домашняго воспитанія, и школьная среда, и направленіе современной ему литературы, и, наконецъ, романическій эпизодъ его жизни,—все это образовало и создало изъ Жуковскаго созерцательнаго, чуждаго текущей дѣйствительности, лирическаго *пѣвца туманной меланхолїи и неопредѣленной, безпредметной мечты*.

¹⁾ Къ характеристикѣ періодической печати школьнаго періода Жуковскаго см. Сочиненія Н. С. Тиховравова, *op. cit.* стр. 419—434.

Зная, подъ вліяніемъ какихъ факторовъ развивался поэтическій талантъ Жуковскаго и при какихъ условіяхъ ему пришлось выступить на литературное поприще, мы не удивимся тому, что съ первыхъ же опытовъ своего пера онъ является предъ нами пѣвцомъ туманно-мистическаго и тоскливо-меланхолическаго *романтизма*. Первымъ печатнымъ произведеніемъ его, написаннымъ имъ еще въ первый годъ своего пребыванія въ Пансіонѣ, была статья въ прозѣ подъ заглавіемъ: „*Мысли у могилы*“. Первымъ стихотвореніемъ его, доставившимъ ему извѣстность и создавшимъ ему имя, была Элегія: „*Сельское кладбище*“. Этой „похоронной“ мелодіи онъ оставался вѣрнымъ въ теченіе всей послѣдующей литературной своей дѣятельности.

Къ изученію западной литературы и заимствованію изъ нея сюжетовъ и темъ для своихъ твореній Жуковскій обратился, такимъ образомъ, уже съ опредѣлившимся поэтическимъ настроеніемъ и готовымъ сложившимся темпераментомъ. Его первое замѣчательное произведеніе „Сельское кладбище“, такъ характерное для писательской фizioноміи его, появилось въ 1802 г. ¹⁾, а еще въ 1805 г. Жуковскій сознается въ маломъ знакомствѣ съ иностранной литературой и только собирается изучить ее. „Я бы желалъ, — пишетъ онъ въ этомъ году Ѡ. Вендриху, — еслибы не боялся васъ отяготить, чтобы вы назначили мнѣ всѣ лучшія нѣмецкія книги во всѣхъ родахъ литературы: *нѣмецкая литература мнѣ мало знакома* ²⁾“. Въ томъ обстоятельстве, что онъ приступилъ къ знакомству съ иностранной литературой уже съ опредѣлившимся поэтическимъ темпераментомъ, кроется ключъ къ объясненію двухъ любопытныхъ особенностей литературной дѣятельности Жуковскаго: во—первыхъ, пѣвецъ романтизма, онъ усваиваетъ и пересаживаетъ на русскую почву *только одну* сторону западнаго романтизма, именно, ту, которая наиболѣе отвѣчаетъ его собственному

¹⁾ „Сельское кладбище“ представляетъ собою свободную передѣлку англійскаго оригинала изъ Грея. Мы выше уже замѣтили, что переводъ этой элегіи существовалъ въ журналѣ „Пріятное и полезное препровожденіе времени“, здѣсь добавимъ, что эта вещь переводилась *не однажды* и уже служила предметомъ даже подражаній, такъ что Жуковскій располагалъ въ данномъ случаѣ уже *готовымъ* матеріаломъ.

²⁾ Сочин. В. А. Жуковскаго, оп. cit., т. VI, стр. 385.

поэтическому настроенію; и во—вторыхъ, подражатель иноземныхъ образцовъ и переводчикъ ихъ на русскій языкъ, онъ въ самомъ подражаніи и переводѣ остается *самобытнымъ и оригинальнымъ творцемъ*.

Есть люди, которые, въ силу пассивно-созерцательнаго склада своей природы, не иначе могутъ выражать богатство своего внутренняго міра, какъ по поводу *чужихъ* мыслей и подъ вліяніемъ *чужой* фантазіи. Къ числу такихъ людей принадлежалъ и Жуковскій. Онъ самъ отмѣчаетъ въ себѣ эту особенность своей природы. „У меня,—говоритъ онъ,—наиболѣе свѣтлыхъ мыслей тогда, когда ихъ надобно импровизировать *въ возраженіе или въ дополненіе чужихъ мыслей*; мой умъ, какъ огниво, которымъ надобно ударить объ камень, чтобы изъ него выскочила искра—это вообще характеръ моего авторскаго творчества; у меня почти все чужое, или по поводу чужого—и все однако мое ¹⁾“. „Набросай мнѣ, пишеть онъ въ одномъ изъ писемъ къ Гоголю,—нѣсколько живыхъ картинъ (Палестины) безъ всякаго плана, какъ вспомнится, какъ напишется; мнѣ это будетъ несказанно полезно и даже вдохновительно для моей поэмы; я увѣренъ, что къ собственнымъ моимъ идеямъ прибавится, *много новыхъ, которыя выскочатъ, какъ искры, отъ удара моей фантазіи объ твою*“. Въ силу этой особенности своего творчества Жуковскій свое собственное поэтическое настроеніе, уже опредѣлившееся, — какъ мы отмѣтили,—до знакомства его съ иностранной литературой, могъ такъ полно и такъ живо выразить только *по поводу* образцовъ иноземнаго сочувственнаго ему романтизма. И, дѣйствительно, всѣ лучшія произведенія его музы, начиная съ первой, доставившей ему славу, элегии „Сельское кладбище“, навѣяны ему были западными оригиналами. Но заимствуя сюжеты и темы изъ этихъ образцовъ, онъ пользуется ими какъ сырымъ матеріаломъ для выраженія собственныхъ мыслей, чувствъ и настроеній. Онъ не стѣсняется передѣлывать, измѣнять, дополнять ихъ и однако всюду остается вѣрнымъ тому оригиналу и въ переводѣ достигаетъ силы впечатлѣнія, тождественной подлиннику. Какъ истинный художникъ, онъ чувствуетъ себя полнымъ господиномъ находящагося въ его распоря-

1) Сочиненія В. А. Жуковскаго, ар. cit., т. VI, стр. 612.

женіи матеріала. А какъ самобытный творецъ, онъ нерѣдко выступаетъ даже за предѣлы оригиналовъ, выдѣляя изъ нихъ или отгѣняя преимущественно то, что наиболѣе отвѣчаетъ его собственному настроенію. Любопытны въ данномъ случаѣ его передѣлки, напр., элегін Грея „Сельское кладбище“ и стихотворенія Шиллера „Идеалы“. Въ первомъ случаѣ изъ двухъ основныхъ мотивовъ элегін,—„некроманіи“ и сочувствія къ бѣдности,—онъ подчеркиваетъ первый въ ущербъ второму; во второмъ—онъ изъ глубоко-придуманыхъ „Идеаловъ“ Шиллера создаетъ свои туманныя „Мечты“. Но этого мало. Эта самобытность его художническаго творчества сказывается не только въ *обработкѣ* имъ своихъ переводовъ, но и въ *выборѣ самыхъ образцовъ*. Изъ всего богатства романтической литературы запада онъ выбираетъ опять только то, что наиболѣе гармонируетъ съ его личнымъ поэтическимъ настроеніемъ. „Восприемникъ“ западнаго романтизма, Жуковский обходитъ однако молчаніемъ многіе наиболѣе могучіе и звучные аккорды этого направленія и является *одностороннимъ* истолкователемъ его. Горячая любовь къ ближнему, смѣлая борьба за право людей на счастье, критическое отношеніе къ данному ненормальному положенію вещей, пытливое изученіе прошлой жизни, наконецъ, бодрое обращеніе къ будущему,—словомъ,—все то, въ чемъ чувствовалось биеіе живаго и *активнаго* сердца и что составляло лучшее украшеніе западныхъ пѣвцовъ романтизма,—все это осталось непонятымъ и неощѣненнымъ нашимъ подражателемъ ихъ, потому что все это не затрогивало его лиры, уже настроенной на извѣстный *созерцательно-минорный* тонъ. Напротивъ того, все меланхоличное,—соединенное съ мыслию о тщетѣ всего земного,—все мистическое, соединенное съ мыслию о необходимости полной покорности вышнимъ силамъ,—все тоскливое и туманное,—нашло въ немъ гениальнаго и неподражаемаго истолкователя. Видно, что въ этой области онъ чувствовалъ не столько рабомъ чужого, сколько „*соперникомъ*“ этого чужого¹⁾. Отдѣлить здѣсь то, что принадлежитъ оригиналу и что ему,—нѣтъ никакой возможности. Все сливается въ одно цѣлое, въ одну общую гармонію столь же заимствованнаго, сколько и само-

1) Ср. Сочиненія В. А. Жуковскаго, *op. cit.*, т. V, стр. 342.

бытнаго, оригинальнаго творчества. Жуковскаго называютъ „Колумбомъ“ романтизма въ нашей литературѣ, проводникомъ этого направленія въ отечественную словесность: въ этомъ есть доля правды. Но гораздо справедливѣе было бы назвать его самобытнымъ родоначальникомъ въ нашей литературѣ своего собственнаго, какого-то исключительно „меланхолическаго“ направленія. По крайней мѣрѣ, изъ западнаго романтизма онъ унаслѣдовалъ, какъ мы отмѣтили,—только одну сторону, и ту далеко не главную и не самую характерную. Въ своемъ же цѣломъ романтизмъ оказался ему недоступнымъ и остался за порогомъ его поэтическаго воспроизведенія.

Мечтательный, бѣдный положительными знаніями, которыя могли бы предохранить его отъ излишней мечтательности; чуждый интереса къ общественной жизни и всегда сторонившійся ея, Жуковскій является предъ нами пѣвцомъ безотчетнаго стремленія туда, къ „таинственному берегу“, къ „той вѣрной пристани“, которая ждетъ человѣка за предѣлами земной жизни,—поэтомъ „душевнаго порыва къ неопредѣленному идеалу ¹⁾“. Вотъ какъ Бѣлинскій характеризуетъ сущность его поэзіи. „Это,—говоритъ онъ,—желаніе, стремленіе, порывъ, чувство, вздохъ, стонъ, жалобы на несовершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастьи, которое, Богъ знаетъ, въ чемъ состояло; это—мръ, чуждой всякой дѣйствительности, населенный тѣнями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тѣмъ не менѣе неуловимыми; это—уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видитъ предъ собой будущаго; наконецъ, это—любовь, которая питается грустью и которая безъ грусти не имѣла бы чѣмъ поддержать свое существованіе ²⁾“. Характернымъ прототипомъ всей поэзіи Жуковскаго является стихотвореніе его „Таинственный поэтитель“. Таинственный поэтитель, — неизвѣстно, — „откуда прилетѣлъ“, неизвѣстно, „для чего отъ насъ пропалъ“, неизвѣстно, „гдѣ его селенье“, неизвѣстно, зачѣмъ его „явленье въ поднебесную небесь“, наконецъ, неизвѣстно, что собою онъ

¹⁾ Сочиненія В. Бѣлинскаго, op. cit., т. VIII, стр. 252.

²⁾ Сочиненія В. Бѣлинскаго, op. cit., VIII, стр. 203.

представляетъ. Поэтъ стремится понять и опредѣлить его и не можетъ. Не Надежда-ли это? — вопрошаетъ онъ: не Любовь-ли? Не волшебница-ли Дума? Не святая-ли Пoesія? Не Предчувствіе-ли? И всѣ эти вопросы остаются безъ всякаго отвѣта. Таковъ характеръ и его собственнаго идеала: онъ неуловимъ; но то, что уловимо въ немъ, въ высшей степени несложно и незатѣйливо. Претензіи поэта въ данномъ случаѣ весьма ограниченны. Онъ искренно устами „Кассандры“ возвѣщаетъ:

„Лишь незнанье—жизнь прямая,
Знанье—смерть прямая наша“

и простодушно увѣряетъ неоднократно, что „онъ мечтаетъ и блаженъ“, что онъ „играетъ призраками и счастливъ“, что „свѣтъ магически разубранъ для него мечтою“, что за нимъ всюду „летаютъ мечты“, наконецъ,

„Что жизнь, когда въ ней нѣтъ очарованья? Кажется, такимъ образомъ, что „блаженное незнанье“, соединенное съ упоеніемъ „мечты“ является для нашего поэта наивысшимъ и наиболѣе вождельнымъ идеаломъ.

Другую характерною чертою поэзіи В. А. Жуковскаго, при неопредѣленности воспѣваемаго въ ней идеала, является ея изолированность отъ жизни, совершенная беспочвенность. Жуковскій въ данномъ случаѣ былъ аристократомъ литературы и брезгливо сторонился всего, что носило характеръ активнаго вмѣшательства въ житейскую прозу. И въ жизни и въ поэзіи онъ былъ безучастнымъ созерцателемъ событій. Застигнутый, напр., въ западной Европѣ политическими событіями 1848 г., онъ сильно тяготится ролью даже пассивнаго наблюдателя и свидѣтеля ихъ. „На бѣду мою, — жалуется онъ въ письмѣ къ князю Вяземскому, — надобно еще слышать и слушать вой этого всемірнаго вихря, составленнаго изъ разныхъ безчисленныхъ криковъ человѣческаго безумія, — вихря, — который грозитъ все поставить вверхъ дномъ. Какой тифусъ, — негодуешь онъ далѣе, — взбѣсилъ всѣ народы и какой параличъ сбиль съ ногъ всѣ правительства. Никакой человѣческой умъ не могъ бы признать возможнымъ того, что случилось и что въ нѣсколько дней съ такою демоническою, неборимую силою опрокинуло созданное вѣками“. Таково же отношеніе его было и къ литературѣ. Все могучее, титаническое, боевое не только не на-

ходило отзвука въ немъ, но даже отталкивало его отъ себя. II здѣсь онъ былъ „не колоколомъ вѣчевымъ во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ“, а жрецомъ „нетлѣнной красоты“. Въ Байронѣ онъ находитъ „что-то, ужасающее, стѣсняющее душу“, что не позволяетъ ему причислить этого поэта къ „поэтамъ—утѣшителямъ жизни 1)“. Шутки Шекспира своею грубостію оскорбляютъ его вкусъ. Гамлета считаетъ онъ „чудовищемъ“ и „не понимаетъ смысла этого чудеснаго урода 2)“. Мефистофильская поэзія Гейне ему непонятна и чужда. Даже изъ Шиллера, этого наиболѣе отвѣчающаго его настроенію поэта, онъ заимствуетъ только одно *туманно-романтическое* и оставляетъ безъ вниманія другія стороны этого великаго пѣвца общечеловѣческой гуманности. Словомъ, все то, въ чемъ слышится бѣненіе живой, натуральной жизни, все это кажется ему профанаціей искусства, оскорбленіемъ музы. „Что такое истинная поэзія? — спрашиваетъ онъ: „откровеніе божественное,—разсуждаетъ онъ въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, — произошло отъ Бога къ человѣку и облагородило здѣшній свѣтъ. *Откровеніе поэзіи происходитъ въ самомъ человѣкѣ* и облагораживаетъ здѣшнюю жизнь въ здѣшнихъ предѣлахъ 3)“. Очевидно, что къ этой мѣркѣ поэтическихъ произведеній, какъ *результата одного внутренняго откровенія* въ человѣкѣ, — не могло подойти ни одно *реалистическое* твореніе. II, дѣйствительно, когда у насъ стало нарождаться новое реалистическое направленіе, Жуковскій не только остался равнодушнымъ къ нему, но даже сталъ на сторону его недоброжелателей. „Новѣйшая поэзія, —отзывается онъ о ней въ письмѣ къ князю Константину Павловичу, — конвульсивная, истеричная, мутная, мутящая душу, мнѣ опротивѣла; хочется отдохнуть посреди свѣтлыхъ видѣній первобытнаго міра“ (т. е. Одиссеи, переводомъ которой онъ былъ занятъ въ это время). Мимо него быстро неслась жизнь нашей новой литературы; восходили на ней новыя свѣтила: явился Пушкинъ съ своею чудною мелодіей, выступилъ Гоголь съ подавляющею силою своего реализма, — Жуковскій охотно уступалъ дорогу этимъ по-

1) Сочиненія Жуковскаго, оп. cit., т. VI, стр. 472.

2) Тамъ же, т. V, 461—463.

3) Тамъ же, т. VI, стр. 472.

вымъ корифеямъ литературы, безъ смущенія продолжая напѣвать свою средневѣковую мелодію. Такимъ образомъ, ничто, — ни современная ему, богатая событіями, жизнь, ни могучіе представители западной литературы, ни новое течение русской, — ничто не могло совлечь пѣвца „небесной красоты“ съ того пьедестала самозамкнутого и односторонняго романтизма, на который онъ сталъ въ самомъ началѣ своей литературной дѣятельности. Было что-то роковое въ этой неподвижности, въ этой вѣрности самому себѣ и тѣмъ традиціямъ, которыя унаслѣдованы имъ были чуть не съ дѣтства. Даже въ то время, когда образованная Россія уже успѣла оплакать невознаградимую утрату въ лицѣ Пушкина, когда уже успѣли всколыхнуть и взволновать ее безсмертныя творенія Гоголя, когда новое, реалистическое направленіе литературы навсегда упразднило изъ исторіи средневѣковый романтизмъ и завоевало себѣ историческое мѣсто, — даже тогда изъ-подъ пера маститаго поэта продолжали выливаться тѣ-же погудки и на тотъ же ладъ. Его „Ундина“ вышла въ одинъ годъ съ „Ревизоромъ“, а его „Наль и Дамаянти“ — даже послѣ „Мертвыхъ Душъ“. Его сочиненія давно перестали вызывать тотъ восторгъ, которымъ сопровождалось появленіе ихъ въ началѣ, уже онъ при своей жизни переживалъ свою славу — и все-таки продолжалъ оставаться вѣрнымъ своей первоначальной мелодіи и находить наслажденіе и успокоеніе въ своемъ собственномъ вдохновеніи. „Я узналъ по опыту, — утѣшаетъ самъ себя въ письмѣ къ Нащокину, — что можно любить поэзію, не заботясь ни о какой извѣстности, ни даже объ участи тѣхъ, чье одобреніе дорого. Они имѣютъ большую прелесть; но сладость поэтическаго созданья — сама собою награда!!!“.. Впрочемъ, такова уже была натура у Жуковскаго, что онъ могъ быть только „зрителемъ мечтательнаго“ и ничѣмъ больше. Онъ самъ хорошо сознавалъ это свойство своей души и вотъ какъ въ посланіи къ княгинѣ А. Ю. Оболенской охарактеризовалъ его:

„А я, мечтательнаго зритель,
 Глядѣль до сей поры на свѣтъ,
 Сквозь призму сердца, какъ поэтъ:
 Съ его прекрасной стороною
 Я неспорченной душою

Знакомъ, но въ тридцать слишкомъ лѣтъ
 Я всё дитя, и буду вѣчно
 Дитя, жилецъ земли безпечной.
 Могу товарищемъ я быть
 Во семь, что въ жизни сей прекрасно:
 Съ душой невинною и ясною
 Могу свою я душу слить;
 Но неспособенъ зоркимъ взглядомъ
 Приманокъ свѣта различить;
 Могу на счастье руку дать,
 Но не впередъ идти, а рядомъ“ 1).

Нельзя не отмѣтить еще одной черты, весьма характерной для Жуковскаго. Это — его особенная, „поэтическая“ любовь къ фантастическому міру всякихъ призраковъ, привидѣній, духовъ, мертвецовъ, ведьмъ, бѣсовъ и т. д. Онъ самъ именуется себя „поэтическимъ дядькой чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ 2)“ и это названіе онъ заслуживаетъ по-справедливости. Ни у кого, ни до Жуковскаго, ни послѣ него, мы не находимъ такого богатства и разнообразія фантазій въ изображеніи этого причудливаго міра. Рѣдкое произведеніе его обходится безъ какого-нибудь одного изъ атрибутовъ этого міра—могилы, савана, гроба, креста... Жуковскій доходитъ иногда даже до чудовищныхъ нелѣпостей. Въ „Балладѣ, въ которой описывается какъ одна старушка ѣхала на черномъ конѣ вдвоемъ, и кто сидѣлъ впереди“ онъ повѣствуетъ, напр., о томъ, какъ діаволь похищала старую колдунью и увозилъ ее на черномъ конѣ. Между прочимъ эта колдунья такъ характеризуетъ здѣсь себя:

„Здѣсь вмѣсто дня была мнѣ ночи мгла;
 И кровь младенцевъ проливала,
 Власы невѣсть въ огнѣ волшебномъ жгла
 И кости мертвыхъ похищала.

И что особенно странно, подобныя баллады появлялись изъ-подъ его пера не въ первые только годы его литературной дѣятельности,—когда талантъ еще не созрѣлъ и не окрѣпъ,—а и въ позднѣйшіе. Такъ только что поименованная баллада его была переведена уже послѣ 1820 года. а

1) Сочиненія Жуковскаго, оп. cit., т. II, стр. 133—34.

2) Тамъ же, т. VI, 541.

его „Леонора“, съ подобнымъ же фантастическимъ элементомъ, были впервые напечатана въ 1831 году, когда ея автору было около 50 лѣтъ. Чтобы восхищаться,—справедливо замѣчаетъ Бѣлинскій, балладами, подобными той, „въ которой описывается путешествіе старухи колдуньи въ адъ съ чортомъ и на чортъ, надо имѣть способность съ поднявшимися на головѣ волосами и выпученными отъ ужаса глазами слушать всѣ глупыя бредни черни о колдунахъ и чертяхъ,—а способность эта можетъ быть плодомъ самого грубаго невѣжества, отъ котораго теперь освобождается мало-помалу даже и чернь. Такія баллады могли бы пугать развѣ только нѣжное и впечатлительное воображеніе дѣтей: но кто же захочетъ нравственно губить дѣтей на всю жизнь, давая имъ въ руки такого рода баллады? 1)“... Эти строки Бѣлинскій писалъ въ 1843 году. Теперь, т. е. почти 60 лѣтъ спустя послѣ появленія этихъ строкъ на свѣтъ, мы можемъ только лишній разъ подтвердить справедливость словъ Бѣлинскаго.

Мы отмѣтили три, по нашему мнѣнію, наиболѣе существенныя. или наиболѣе характерныя, черты поэзіи Жуковскаго: неопредѣленность и туманность его идеала и вообще содержанія его поэзіи, изолированность ея отъ дѣйствительной жизни и обиліе въ ней нелѣпо-фантастическаго элемента. Первые двѣ, естественно, сообщаютъ воспѣваемому имъ романтизму *односторонній колоритъ*, послѣдняя—составляетъ неприятную и нежелательную *крайность* его. Взятая вмѣстѣ они вызывали многія, въ большинствѣ случаевъ, справедливыя недоумѣнія, возраженія и порицанія еще со стороны современниковъ его и притомъ не только изъ лагеря „шишковцевъ“, относившихся враждебно ко всему направленію его литературной дѣятельности, но и изъ устъ лицъ нейтральныхъ въ данномъ случаѣ, только державшихся другихъ взглядовъ,—и нужно сознаться,—болѣе трезвыхъ, на сущность, назначеніе и направленіе поэзіи. Мы не будемъ въ данномъ случаѣ останавливаться на оживленной полемикѣ, возникшей вокругъ Жуковскаго и отчасти изъ-за Жуковскаго между „шишковцами“ и „арзамасцами“,—въ

1) В. Бѣлинскій, Сочиненія. оп. cit., т. VIII, стр. 202.

которой шишковцы между прочимъ устами нѣкоей графини обращались къ Фіалкину—Жуковскому съ такой просьбой:

„Прошу васъ, ради Бога,
Гомера не влюблять, не мучить мертвецовъ,
И не смѣшить живыхъ плаксивыми стихами ¹⁾;

приведемъ только нѣкоторыя мнѣнія и отзывы лицъ, болѣе безпристрастныхъ. Изъ нихъ нельзя не отмѣтить слѣдующихъ строкъ Рылѣва въ письмѣ къ Пушкину: „Къ несчастію,—ишетъ онъ,—вліяніе его (т. е. Жуковскаго) на духъ нашей словесности было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопредѣленность и какая-то туманность, которая иногда въ немъ даже прелестны, растлили многихъ и много зла надѣлали!“ „Какой рядъ предвижу я,—воскликаетъ Гнѣдичъ по поводу балладъ, размножившихся въ русской литературѣ послѣ появленія „Свѣтланы“,—убійць и мертвецовъ, удавленниковъ и утопленниковъ! Какой рядъ блѣдныхъ жертвъ смерти балладической и какой смерти!... Кто исчислитъ всѣ вымыслы творцевъ, для которыхъ нѣтъ ничего невозможнаго, нѣтъ ничего *невыроятнаго*, ничего низкаго! И судя по ихъ первымъ смѣлымъ шагамъ, кто предузнаетъ, куда занесетъ ихъ воображеніе на этомъ новомъ полѣ, не имъющемъ предѣловъ ни истины, ни вкуса ²⁾“. „Богъ съ ними,—заключаетъ Грибоѣдовъ свой отзывъ о „Людмилѣ“, Жуковскаго—съ *мечтаніями*; нынѣ въ какую книжку не заглянешь, что ни прочтешь,—пѣснь, или посланіе, *вездѣ мечтанія, а природы ни на волосъ* ³⁾. Въ послѣднемъ замѣчаніи даровитаго писателя уже слышится голосъ здраваго реализма, недовольнаго „тощими мечтаніями“ доморощеннаго романтизма.

Кажется, что и самъ Жуковскій сознавалъ односторонности и крайности своего романтизма. Весьма любопытны въ этомъ случаѣ слѣдующія строки его письма къ А. С. Стурдзѣ, по поводу окончанія перевода на русскій языкъ „Одиссея“: „единственною *внѣшнюю* (к. авт.) наградою моего труда будетъ сладостная мысль, что я (во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтической дядька чертей и

¹⁾ Зейдлицъ, *op. cit.*, стр. 92.

²⁾ Тихонравовъ, *op. cit.*, стр. 474.

³⁾ Тамъ же, стр. 477

вѣдѣмъ нѣмецкихъ и англійскихъ) *подъ старость загладилъ свой грѣхъ* (курсивъ нашъ) и отворилъ для отечественной поэзіи дверь Эдема не утраченнаго ею, но до сихъ поръ для нея запертаго ¹⁾“. Характерно также и слѣдующее его признаніе: „моя жизнь,—говоритъ онъ,—пролетѣла на крыльяхъ легкой беззаботности рука въ руку съ призракомъ поэзии, которая насъ часто гибельнымъ образомъ обманываетъ насчетъ насъ самихъ, и часто, часто мы ея свѣтлую радугу, привидѣніе ничтожное и быстро исчезающее принимаемъ за твердый мостъ, ведущій съ земли на небо. Подъ старость я не рассорился съ поэзіей, *но не въ ней правда*; она только земная, блестящая риза правды ²⁾“. Или еще: „это время (конецъ 1846 и начало 1847) было самымъ тяжкимъ во всей моей жизни, избалованной своимъ постояннымъ, беззаботнымъ спокойствіемъ. Оно баловало меня съ колыбели, въ которой до старости *лѣтъ я лежалъ веселымъ младенцемъ* и посматривалъ на все окружающее мою люльку *сквозь сонъ поэтической*. И вдругъ изъ этой люльки, *отрезвившись*, я всталъ шестидесятилѣтнимъ старикомъ; и только тутъ догадался, что наша жизнь не поэтической сонъ, а строгое существенное испытаніе“ ³⁾. Но особеннаго вниманія заслуживаютъ его слова, посвященныя памяти великаго Гёте. Извѣстно, что Жуковский весьма нескоро оцѣнилъ „смѣлую свободу“ этого поэта; но оцѣнивши ее и признавши ее и для себя „животворителемъ жизни“, онъ горько сожалѣлъ о томъ, что такъ поздно ему пришлось оцѣнить и понять его поэзію: „тогда бѣ вокругъ меня,—замѣчаетъ онъ,—создался иной, чудесно пышный свѣтъ“... Вотъ эти стихи, относящіеся къ 1827 г.

„Почто судьба мнѣ запретила
Тебя узрѣть въ моей веснѣ?
Тогда душа бы воспалила
Свой пламень на твоемъ огнѣ;
Тогда бѣ вокругъ меня создался
Иной чудесно пышный свѣтъ;
Тогда-бѣ и обо мнѣ остался
Въ потомствѣ слухъ: онъ былъ поэтъ ⁴⁾.“

1) Сочиненія Жуковского, оп. cit., т. VI, стр. 541.

2) Тамъ же, т. VI, стр. 533.

3) Тамъ же, т. VI, стр. 530.

4) Тамъ же, т. II, стр. 412—413.

Настоящая юбилейная годовщина, которую празднуетъ потомство, ясно свидѣтельствуемъ, что въ потомствѣ и безъ того остался „слухъ, что онъ—поэтъ“. Но нельзя, дѣйствительно, не пожалѣть, что вокругъ этого поэта не созданъ „иной“ именно, *Гетевскій*, „чудесно-пышный свѣтъ“.

Конечно, та односторонность и крѣпость романтической музы Жуковскаго, — о которыхъ у насъ только что шла рѣчь,—нисколько не умаляютъ его немаловажныхъ заслугъ для отечественной литературы. И исторія уже успѣла достаточно оцѣнить эти заслуги и выяснить историческое значеніе ихъ. „Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго,—писалъ еще Бѣлинскій въ свое время,—и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинскою богинею Церерою: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомивъ ее съ таинствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полного тревоги стремленія въ „онъ тайственный свѣтъ“, которому нѣтъ имени, нѣтъ мѣста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную завѣтную сторону“ ¹⁾. Одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, Жуковскій сдѣлалъ ее доступною для русскаго общества: создавъ возвышенное представленіе объ источникѣ и назначеніи ея, онъ обезпечилъ ей дальнѣйшіе успѣхи; словомъ, онъ далъ могучій толчекъ развитію нашей изящной литературы, такъ что „безъ Жуковскаго мы,—по словамъ Бѣлинскаго,—не имѣли бы Пушкина“ ²⁾, а безъ Пушкина, — можно сказать,—мы не имѣли бы Гоголя, безъ Гоголя же —всей славной плеяды его послѣдователей, которою справедливо можетъ гордиться русская литература. Но какъ ни велико значеніе Жуковскаго, нельзя не сознаться, что для настоящаго времени оно является уже *историческимъ*; какъ ни значительна была роль, выпавшая по долю его произведеній, эта роль,—можно сказать,—навсегда закончена.

II. Мининъ.

¹⁾ Бѣлинскій. *op. cit.*, ст. VIII, стр. 251.

²⁾ Тамъ же, стр. 252.